

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ СУВЕРЕНИТЕТА. СУВЕРЕНИТЕТ КАК ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

О.Ч. Реут

Эволюция суверенитета во многом исторически обусловлена. Начиная с Вестфальского мира 1648 года режим суверенитета заменил все другие формы политической организации на международном уровне. Зависимые государства, традиционные империи, зоны опеки, содружества в настоящее время стали в определенной степени историческими реликтами. Однако в нынешней мировой системе триумф суверенитета привел к несоответствию между силовыми возможностями государств и существующими международными принципами и нормами. Деколонизация дала странам “третьего мира” такой уровень суверенитета (де-факто и де-юре), достичь которого или защитить который собственные силовые возможности им бы не позволили. К тому же суверенитет “некоторых стран вовсе не является всеобъемлющим”* [Балуев 2003].

Настоящая статья посвящена рассмотрению российского дискурса суверенизации. Приближение к пониманию вопросов целесообразности и возможности удержания или ослабления *государственного* суверенитета — одна из актуальных задач, стоящих перед российским политическим классом и политологическим сообществом. Объектом исследования является процесс суверенизации, а предметом — дискурсивные стратегии, определяющие “прочтение” концепта суверенитета и формирующие отношение к нему заинтересованных акторов. Совокупность дискурсивных стратегий рассматривается в качестве дискурсивной практики. Данный подход базируется на предположении М.Фуко о том, что дискурс представляет собой практику, которая “имеет свои собственные формы сцепления и последовательности” [Фуко 2004].

Дискурсивная практика — гетерогенное множество детерминированных во времени и пространстве правил, которые, в свою очередь, определяют “условия осуществления функции высказывания”. Что касается предмета исследования, то “прочтение” концепта суверенитета синтезирует совокупности позиций, присущих политическому, экспертному (академическому) и медийному комплексам в современной России. В этом смысле целесообразно говорить о различающихся между собой (возможно, точнее — несовпадающих) политическом, экспертно-академическом и медийном дискурсах. В классификационном плане можно выделить еще художественный дискурс, но в настоящей работе он не рассматривается.

АБСОЛЮТНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Собственно структурирование российского дискурса суверенизации (и, следовательно, десуверенизации) представляет собой довольно интерес-

РЕУТ Олег Чеславович, докторант Петрозаводского государственного университета.

* В настоящей статье прилагательные суверенитета выделены курсивом.

ное занятие. В отличие от “традиционных” систематизирующих ограниченных, разбивающих некую общность на группы (и/или классы), в той или иной степени (контрастно) противопоставляемые друг другу, рассматриваемое дискурсивное пространство непредставимо в категориях “центра”. Дихотомическая пара “суверенитет – несuverенитет” подразумевает, что любое положение, не совпадающее с *абсолютным*, оказывается несuverенитетом. Среднего/центрального положения с его собственными “правыми” и “левыми”, “либеральными” и “консервативными” не существует. Проблема ослабления или удержания суверенитета автоматически оказывается в дискурсивном поле уже после бесконечно малого отхода от классического веберовского понимания суверенитета и классической вестфальской государствоцентричной модели международных отношений.

Своеобразные полюса дискурса, с одной стороны, фиксируют бинарную оппозицию. С другой стороны, положение (полюс) “суверенитет” сам по себе конструирует политического “другого/чужого”. Или же, иными словами, политический “другой” в процессе десуверенизации деконструирует монополию суверенитета как специфичного способа организации практик человеческой жизни и политического сообщества. Политический “другой” приватизирует функции *государственного/национального* суверенитета, которому остается лишь технологическое умение преследовать свои цели и достигать их, несмотря на давление взаимозависимости.

В этих условиях суверенитет оказывается “абсолютной ценностью”, “гражданской ценностью”, “политическим синонимом конкурентоспособности”, “условием наличия собственного глобального проекта”, “собственностью нации” и т.д. Это означает, что 1) или суверенитет не должен как-либо уточняться, 2) или в качестве определений могут использоваться прилагательные (в алфавитном порядке): “абсолютный”, “безусловный”, “веберовский”, “вестфальский”, “вневременной”, “всеобъемлющий”, “идеальный”, “исключительный”, “классический”, “нормальный”, “полноценный”, “полный”, “равный”, “(свой) собственный”, “состоявшийся”, “сущностный”, “традиционный”, “универсальный”, “унитарный” и им подобные, только они и никакие иные.

Применительно к неизменности системы смыслов, определяющих категорию “суверенитет”, это означает, что связанность с “монополией на легитимное физическое насилие” подразумевает кажущееся только на первый взгляд обязательным требование оперировать следующими понятиями: “(абсолютный) *государственный* суверенитет” и “суверенное государство”. С позиций основ теории международных отношений и международного права приведенные выражения не имеют прикладного смысла, так как суверенитет может быть только *государственным*, а само государство – только суверенным. В противном случае перед нами не суверенитет и не государство [Реут 2006в]. Очевидно, что все упомянутые выше “оттенки” (список которых можно продолжить) описывают один и тот же объект: суверенитет или, как было отмечено, *государственный* (или *национальный*) суверенитет.

Данная ситуация сформирована исключительно на основе консервативной ориентации на представление суверенитета в качестве некой универ-

сальной опоры и предельно предсказуемого политического института, верность и преданность которому требует неизменности и непоколебимости уточняющих прилагательных. Казалось бы, *настоящий* и *подлинный* суверенитет уже практически невозможно уточнять. Однако дискурсивные стратегии, не имеющие заранее согласованных и установленных внешних и внутренних ограничений, предоставляют такую возможность.

Прежде всего, это — *современный* суверенитет, понимаемый как суверенитет своего времени. Данная характеристика как бы затрагивает классические/традиционные устои суверенитета, но не противоречит его по-модернистски обновляющейся содержательной основе.

Следующие прилагательные — “*политический*”, “*экономический*”, “*юридический*” — фиксируют определенную принадлежность к категориальному аппарату, получившему распространение в пределах установленного профессионального цеха. Внутренне они не противоречат друг другу и даже взаимно друг друга дополняют, но применимость их “по частям” все-таки оттеняет ту или иную сторону концепта. Множественность и разнообразие значений произвольно создают ситуацию, при которой использование прилагательных составляет активный фактор динамики смысла.

Губернатор Тверской области, член Генерального совета партии “Единая Россия” Д.Зеленин уточняет, что именно “*политический* суверенитет является синонимом конкурентоспособности государства”. При этом он добавляет, что “политическая конкурентоспособность может быть выстроена только на аналогичной экономической базе” [см. Романчева 2006]. Данный тезис фиксирует внешний контур суверенитета, который существует и, следовательно, конкурирует в условиях глобальной экономики, не ограниченной масштабами национальных экономических систем. Как бы противоречиво это ни выглядело, *экономический* суверенитет, по мнению президента организации “Деловая Россия” Б.Титова, подразумевает уклонение от глобальных вызовов и пертурбаций, возникающих в конкурентной среде, и взятие курса “на строительство суверенной экономики”, в рамках которой можно будет реализовать “модель развития внутреннего спроса” [см. Романчева 2006].

Отсутствие необходимости оперативно реагировать на изменения внешней среды предполагается *юридическим* суверенитетом, у которого обнаруживаются дополнительные уточнения: “*формальный*” и “*формально-юридический*”. Казалось бы, здесь, как и в системе права в целом, трудно определить очевидные противоречия и изъяны, которые в свою очередь оправдывают возможность применения уточняющих прилагательных. Тем не менее такие находятся, и их условно можно разделить на три группы.

Первая группа иллюстрирует возникновение *излишних* определений, которые несут ничтожно мало в содержательно-смысловом плане, но оказываются необходимыми для теоретических построений авторов-разработчиков. Характерным для российского дискурса примером может служить градация на *реальный* и *де-юре* суверенитет, предложенная А.Кокوشيным [см. Путеев 2005]. В его прочтении “*де-юре*” означает “официальный”, по сути, статистический, каких “в мире насчитывается около двух сотен”. Под словом “*реальный*” подразумевается нечто особенное: либо связанное со

свободой действий в военной сфере, либо predetermined наличием “сильной финансовой системы с невысокой степенью зависимости от внешних заимствований” [Кокошин 2006]. На иллюзорность и ограниченность подобных конструкций неоднократно указывал В.Иноземцев, одна из недавних работ которого [Иноземцев 2006] как раз посвящена критике концептуальных построений, лежащих в основе монографического труда Кокошина “Реальный суверенитет в современной мирополитической системе”.

Рассмотрим вторую группу прилагательных, уточняющих юридическое измерение суверенитета, на примере функциональной классификации, разработанной С.Краснером [Krasner 1999, 2001] и в настоящее время претендующей на статус образцовой. По Краснеру, термин “суверенитет” используется, по меньшей мере, в четырех различных значениях: 1) *внутренний* суверенитет, относящийся к организационным формам управления внутри государства; 2) *взаимный* суверенитет, имеющий отношение к способности властей контролировать трансграничные передвижения; 3) *международный юридический* суверенитет, связанный с признанием государствами друг друга; 4) *вестфальский* суверенитет, предписывающий одним государствам воздерживаться от вмешательства во внутренние дела других государств. В этой исчерпывающей схеме, по ироничному замечанию Иноземцева [Иноземцев 2006], “все суверенитеты вполне реальны”.

Обратим внимание на важное наблюдение Е.Кузнецовой [Кузнецова 2006], согласно которому *внутренний* суверенитет, в трактовке Краснера, продолжает традицию *идеального боденовского*, стремящегося “создать интеллектуальную опору для легитимизации процесса централизации власти”. Сегодня, правда, *внутренний* суверенитет предполагает не столько следование одной модели отношений власти с другими политическими субъектами, сколько толерантность, право народа на самоопределение и выбор формы правления. Вместе с тем, казалось бы, очевидное положение, в соответствии с которым *внешний* суверенитет должен предоставляться сразу по утверждению *внутреннего*, на практике зачастую оказывается невыполнимым. Суверенитет в его формальном понимании подразумевает статус, призванный легитимировать суверенную власть со стороны других государств – акторов межгосударственных отношений. А признание суверенитета государства означает признание де-факто его равного статуса с остальными. “*Внутренний* суверенитет более тесно связан с *внешним* и *вестфальским* суверенитетом, чем этого хотелось бы многим ищущим ‘независимости’ лидерам”, во многом по причине обоснованной критики, которая звучит из хорошо организованного лагеря правоведов-международников, не готовых мириться даже с гипотетической узурпацией власти, авторитарной политикой, отсутствием демократического или иного контроля над властью.

Третья группа прилагательных в российском политическом дискурсе может быть связана с научными работами и публицистическими выступлениями председателя Конституционного суда Российской Федерации В.Зорькина, пытающегося сохранить традицию абсолютной устойчивости *нормативного ядра* в системе представлений о *современном* суверенитете.

Конечно, Зорькину “по должности” приходится считать, что “*государственный* суверенитет остается основой конституционного строя большинства государств” [Зорькин 2004]. Интересно, однако, другое: для пояснения многих своих теоретических положений он готов игнорировать процессы, развивающиеся внутри собственно института государства, и довольствоваться лишь “пропусканьем” выборочного количества архаичных тезисов сквозь призму наднационального взаимодействия. “Объединенные Нации — это *объединенные* суверенитеты. Нет объединенных суверенных государств — нет ООН. Нет ООН — нет механизма решения региональных и глобальных конфликтов” [Зорькин 2006].

Угроза распада России связывается, по Зорькину [Зорькин 2004], с *разделенным* суверенитетом, на базе которого “отдельные региональные руководители” “время от времени” предлагают строить федерацию. При этом для обращения к международно-правовым процедурам используются *мягкие* суверенитеты, т.е. такие, которые предполагают или предусматривают “право этносов и регионов на самоопределение” и “гуманитарные интервенции”. Практически единственный способ защиты от “внешних систем управления” — отождествление суверенитета с государством. Подобная логика, тем не менее, приводит к утрате понимания того, что суверенитет в первую очередь отражает отношения власти между людьми в обществе и между обществами. “Конституция закрепляет *государственный* суверенитет Российской Федерации, т.е. суверенитет России как Нации, соединенной с другими суверенными и равноправными Нациями в рамках ООН. Для России — в смысле ее легитимации — нет ничего более высшего, чем такая Конституция. Верховенство Конституции как раз является высшим выражением суверенитета всего народа России. И в этом смысле — это *демократический* суверенитет... Там черным по белому написано о *народном* суверенитете и о суверенитете России” [Зорькин 2006].

НЕАБСОЛЮТНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Если последовательно переходить к исследованию “функции высказывания” о государственности с позиций разворачивающегося в настоящее время дискурса “суверенизация versus десуверенизация”, то категория суверенитета может и должна уточняться настолько, насколько этого требует политическая практика. Сам суверенитет последовательно “подталкивается” в пространство *дискурсивного*. Десуверенизация — относительно новый концепт политологии и теории международных отношений. Данная категория находится в процессе становления, причем это относится не только к отечественной науке. Новизна и отсутствие устоявшегося понимания того, что выступает основополагающим и определяющим в рассматриваемом концепте, предопределяет создание ситуации, при которой сам термин наделяется разными смыслами [Реут 2006б].

Понимание десуверенизации как процесса, объединяющего три “направления”: прямое или косвенное нарушение суверенитета, универсализацию прав человека и прав нации на самоопределение, становление наднациональных институтов и норм, — стало в определенной степени традиционным. Такое понимание методологически нивелирует возможности

системного исследования процесса “размывания” суверенитета. Заранее установленное восприятие десуверенизации, маркированное в значительной степени негативными оценками и коннотациями, начинает постепенно отступать от предписанной ему роли “чужого”. Естественным образом это проявляется через уточнение понятия суверенитета, которое отражает возникновение новых международных обязательств, сужающих пространство *абсолютного* суверенитета. В контексте данной трансформации появились *относительный, ограниченный, частичный, условный, гибридный и квази-суверенитеты*.

Видимо, в отдельную группу можно выделить прилагательные с “не”: “неполный”, “неполюценный”, “несостоявшийся”, “ненормальный” и даже “непослушный”. Однозначно негативные оценочные характеристики несут такие прилагательные, как “бесполезный”, “больной”, “искаженный”, “символический”, “иллюзорный”, “условный”, “суррогатный”.

Политический и экспертно-академический дискурсы продолжают производить новые оценки суверенитета. Так, В.Сурков в своей работе “Национализация будущего: параграфы про суверенную демократию” “добавил” суверенитету прилагательное “всесоюзный” — исключительно для обозначения “устойчивой ассоциации суверенных государств” в пространстве складывающегося Европейского союза [Сурков 2006].

В то время как Зорькин призывает к восстановлению *энергетического* суверенитета, предполагающего “существенную корректировку соглашений с глобальными монополистами, подписанных в начале 90-х годов” [Зорькин 2006], бывший премьер М.Касьянов определяет российский суверенитет как *нефтедолларовый* и ратует за проведение внутренних структурных реформ в национальной экономической системе. Первый, таким образом, в значительной степени обосновывает то, что было утрачено в стране за последние полтора десятилетия, тогда как второй пытается относительно последовательно объяснять необходимость будущих изменений.

Концепт *интеллектуального* суверенитета был предложен мэром Москвы Ю.Лужковым на съезде партии “Единая Россия” в Екатеринбурге. По справедливому замечанию А.Макарычева, появление данного “изобретения” “симптоматично в контексте различного рода семантических поисков внутри ‘партии власти’” [Макарычев 2006]. Одновременно с этим можно констатировать, что *интеллектуальный* суверенитет практически полностью соответствует известной метафоре “мягкая власть” или “умная мощь” (основанная на способности влиять силой убеждения и моральным примером).

Как это ни парадоксально, но для подобной конструируемой связки в российском дискурсе нашлась другая характеристика: *максимальный* суверенитет [Третьяков 2006]. Данный тип организации политического пространства подразумевает принятие ответственности за развитие других стран и народов, которые, в свою очередь, обладают лишь *малым* суверенитетом. Фрагментированность статусов усиливается практически аксиоматическим положением, в соответствии с которым высшая форма суверенности определяется исключительно как “исторический статус союзообразующей страны”.

Между тем общая схема формирования международных союзов посредством интеграции между государствами и децентрализации внутри них предполагает *надкушенный* суверенитет [Кузнецов 2006]. Представляется, что подобная калька с англоязычного термина “perforated sovereignty” не совсем адекватно описывает смысл, заложенный в оригинальный концепт. Субрегиональная кооперация, реализуемая через систему взаимопроникающих институтов, предполагает постепенное сближение и в определенной степени “срастание” двух частей, как правило, периферийных, приграничных сообществ [Реут 2006а].

Действительно, проявлений феноменов “размывания” суверенитета безграничное множество. Все они в той или иной степени пытаются добиться собственного отличительного маркера, в том числе через процедуру деконструкции ключевого концепта “суверенитет” и указание на то, что суверенитеты бывают *разные* и, следовательно, нуждаются в прилагательных. Принципиально важно, что в своем феноменологическом пространстве, включающем эти прилагательные, концепт суверенитета фиксируется исключительно с позиций *наблюдения за его употреблением*. Это, в свою очередь, предполагает выделение трех последовательных функций, имеющих большое значение для рассмотрения и критического анализа дискурсивных практик: 1) собственно процесс употребления понятия; 2) определение условий его употребления; 3) обнаружение тех, кто это понятие употребляет. Данный тезис великолепно развивается А.Пятигорским, одна из недавних работ которого имеет более чем показательное название – “Национальный суверенитет как объект феноменологии”. Интересно, что и сам исследователь не удерживается от соблазна/искушения привнести свои “уточнения”: “Строго феноменологически... *национальный* суверенитет будет иметь смысл только в противопоставлении *актуального, потенциального* или *исторического* суверенитета одной территории *государственному* суверенитету” [Пятигорский 2006].

Очевидно, что российский дискурс удержания или ослабления суверенитета предусматривает некоторые теоретические предпосылки для изменения словоупотребления. “Размывание” суверенитета и “эрозия” вестфальской картографии объективно расширяют набор правил, регулирующих современную систему международных отношений. Суверенитет девальвируется, виртуализируется, отрицается, ограничивается, приватизируется. Одним словом, переосмысливается. При этом процесс десувенинизации становится, по справедливому замечанию А.Богатурова, “общемировым трендом”, который, в свою очередь, определяется, с одной стороны, как “радикальный теоретический вывод” об изменении суверенитета, а с другой – как “размягчение” суверенитета. Следует, однако, отметить, что время от времени указанное “размягчение” выступает только как составная часть “общемирового тренда”:

– *размягчение суверенитета* (на Востоке Европы): в отсутствие “железного занавеса” бывшие социалистические страны приветствовали стремление западных государств включиться в управление преобразованиями на их территориях, не протестуя и не считая происходящее вмешательством в свои внутренние дела;

– *преодоление суверенитета*: внешне похожий, но иной по своей природе процесс развивался в Западной Европе в рамках ускорившейся интеграции;

– *бесплезность суверенитета* (в развивающихся странах “третьего мира”): многие бывшие колонии в силу экономической и политической слабости продолжали обладать суверенитетом лишь формально (“фиктивно”), на деле не имея возможности его отстаивать не только перед более сильными зарубежными государствами, но даже перед крупными многонациональными корпорациями.

Одновременно с этим Богатуров замечает, что, например, суверенитеты США, Китая, Индии и Японии остаются *прочными*, а “многие из новых государств (на Балканах, Кавказе и в Центральной Азии) предпочитают воевать за утверждение суверенитета, а не мириться с его ‘отмиранием’” [Богатуров 2006].

СУВЕРЕНИТЕТ КАК ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

С позиций постулирования дискурсивного характера политических отношений десуверенизация последовательно приводит к нескольким важным последствиям.

Во-первых, политические способы организации “легитимного права насилия на собственной территории” заменяются административными. При этом вытеснение (а порой и “выдалбливание”) суверенитета одновременно означает сужение сферы публичности и прозрачности, равно как и укоренение управленческих практик, основанных на тайной (непубличной) политике и негласных отношениях между акторами.

Тем не менее не следует усматривать эту тенденцию среди действий/акций вне-, не- и наднациональных акторов (прежде всего сетевых организаций и сетевых сообществ), которые не признают *нормальный*, в данном случае – *политический*, суверенитет, практикующий гомогенную автономию иерархических отношений. Для них не исключено существование негосударства, не практикующего традиционную организацию политического пространства, а функционирующего в условиях десуверенизации (равно как и деполитизации, дедемократизации и т.д.).

Попытка концептуального рассмотрения этого сложнейшего процесса, хотя и с определенными ограничениями, вызванными неомарксистской “заданностью” авторов, была предпринята М.Хардтом и А.Негри в работе “Множество: война и демократия в эпоху империи”. Поскольку суверенитет представляет собой отношение, элементами которого выступают правители и управляемые, любое смещение баланса сил – или в сторону тех, кто отдает команды, или в направлении тех, кто подчиняется и готов подчиняться, – разрушает дуалистичную природу власти. В настоящее время баланс сил в суверенных отношениях смещается в сторону управляемых, и они, таким образом, обретают способность строить горизонтальные и вертикальные социальные связи самостоятельно: “*унитарный* суверенитет постепенно становится излишним”. Более того, автономия политически самоорганизующегося пространства отбирает “всякую самостоятельную роль у суверена”. И дело оказывается не только в том, что “суверенитет более не относится исключительно к сфере политичес-

кого”, но и в том, что “множество просто изгоняет суверенитет из политики” [Хардт, Негри 2006].

Во-вторых, модель десуверенизированной власти внутренне нестабильна, поскольку она постоянно испытывает на себе множественные воздействия со стороны тех институтов, которые не мыслят себя вне политического поля и, соответственно, *ресуверенизируют* деятельность управленческих структур или, по крайней мере, пытаются это делать.

Для сторонников и идеологов суверенитета как “абсолютной ценности” процесс десуверенизации представляет собой замену/подмену политического суррогатным, виртуальным и эволюцию в направлении создания ситуации “суверенитет без суверенитета”. Администрирование, технологичность, “правительственность” и полная нечувствительность к политическим факторам начинают определять реакцию удержания *традиционного* суверенитета перед лицом новых вызовов, инициированных десуверенизацией.

Подобное удержание суверенитета предписывает “игру по техническим правилам и развитие индивидуалистических стратегий” [Жижек 2005], а вот собственно политика вынужденно редуцируется до полицейских функций. Такой суверенитет способен уже лишь на выполнение инструментальных задач. Государство превращается в суверенного арбитра.

Суверенитет, лишенный абсолютов, — не менее загадочное для дискурсивных практик пространство. Предельно важная связь обнаруживается между антиподами: несуверенитетом и суверенитетом, десуверенизацией и гиперсуверенизацией. Последняя понимается как отсутствие структурных ограничений для реализации суверенной политики, отсутствие ограничений в сфере *суверенного* вообще. На самом деле, с одной стороны, мир без границ — это мир без суверенов, суверенитетов, политических субъектов. С другой стороны, это мир без ограничений для суверенов, суверенитетов, политических субъектов. “Чем меньше политики, тем ее больше”, и, следовательно, чем меньше суверенитета, тем его больше.

В продолжение тезиса о возможности “измерения” состояния суверенитета степенью десуверенизации и взаимной “конвертации” гиперсуверенизации и десуверенизации следует отметить, что в этих условиях все внесуверенные зоны, т.е. пространства с выделенными или фиксированными границами, начинают исчезать.

Суверенными становятся рыночные отношения (представляющиеся сложно сочетаемыми взаимодействия глобальной конкурентоспособности и суверенной экономики), блогосфера и интернетовские коммуникации (через организацию условий функционирования различных сообществ), институт семьи (к примеру, фраза “Мой дом — моя крепость” начинает использоваться в качестве объяснения определенных политических предпочтений), а также космополитичное искусство, сфера интимного и индивидуализированного. Более того, исключительной особенностью российского дискурса суверенизации стало отнесение к суверенному демократии.

Суверенная демократия и суверенный арбитраж, наряду с множеством смыслов и знаков, привнесенных в российские дискурсивные практики, характеризуют общее положение проникновения концепта суверенитета в новые пространства политики и неполитические сферы. В условиях десуве-

ренизации “конец суверенитета”, таким образом, совпадает с его “рождением”. Мы видим как на стадии “размывания” суверенитета, т.е. движения в направлении “мира без суверенитета”, концепт обрастает прилагательными. Одновременно с этим в “мире без границ” суверенитет сам оказывается прилагательным.

Балуев Д.Г. 2003. *Роль государства в современной мировой политике*. Н.Новгород (<http://www.kis.ru/~dbalu/staterole.htm>).

Богатуров А.Д. 2006. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе. — *Мировая политика: проблемы теоретической идентификации и современного развития*. Ежегодник. М.

Жижек С. 2005. *Интерпассивность, или Как наслаждаться посредством Другого*. СПб.
Зорькин В. 2004. Апология Вестфальской системы. — *Россия в глобальной политике*, № 3 (<http://www.rg.ru/2006/08/22/zorjkin-statjya.html>).

Зорькин В. 2006. Стенограмма выступления на Круглом столе “Суверенное государство в условиях глобализации”. — *Российская газета*, 06.09 (<http://www.rg.ru/2006/09/06/diskussia.html>).

Иноземцев В. 2006. Приехали... Состоялось превращение советского ученого в российского спецпропагандиста. — *Свободная мысль*, № 4.

Кокошин А.А. 2006. *Реальный суверенитет в современной мирополитической системе*. 3-е изд. М.

Кузнецов А.С. 2006. “Надкушенный суверенитет”: проблема категории “суверенитет” при исследовании субнациональной дипломатии. — *Политэкс*, № 3 (<http://politex.info/content/view/231/40>).

Кузнецова Е. 2006. Западные концепции государственного суверенитета. — *Международные процессы*, № 11 (<http://www.intertrends.ru/elevnth/007.htm>).

Макарычев А. 2006. Кто чужие, где свои. — <http://www.birzhaplus.ru/print.php?16898>
Путеев К. 2005. Россия в современном мире. — *Граница России*, № 48 (<http://www.duma-er.ru/pubs/pubs/13295>).

Пятигорский А. 2006. Национальный суверенитет как объект феноменологии. — *Российское экспертное обозрение*, № 5 (<http://www.rusrev.org/content/review/default.asp?shmode=8&ids=137&ida=1518&idv=1527>).

Реут О. 2006а. Без территории. Суверенитет без прилагательных. — *Российское экспертное обозрение*, № 4 (<http://www.rusrev.org/content/review/print.asp?ids=132&ida=1345>).

Реут О. 2006б. Состояние десуверенизации. — http://www.russ.ru/politics/docs/sostoyanie_desuverenizacii

Реут О. 2006в. Суверенная демократия. Ненужное зачеркнуть. — <http://www.intellektuals.ru/cgi-bin/proekt/index.cgi?action=articul&statya=viewstat&id=20061026175254&versia=1>

Романчева И. 2006. Масштаб суверенной экономики. — <http://vzglyad.ru/politics/2006/11/22/58241.html>

Сурков В. 2006. Национализация будущего: параграфы про суверенную демократию. — *Эксперт*, № 43 (http://www.expert.ru/printissues/expert/2006/43/nacionalizaciya_buduschego).

Третьяков В. 2006. Стенограмма выступления на Круглом столе “Суверенное государство в условиях глобализации”. — *Российская газета*, 06.09 (<http://www.rg.ru/2006/09/06/diskussia.html>).

Фуко М. 2004. *Археология знания*. СПб.

Хардт М., Негри А. 2006. *Множество: война и демократия в эпоху империи*. М.

Krasner S. 1999. *Sovereignty. Organized Hypocrisy*. Princeton.

Krasner S. 2001. Problematic Sovereignty. — Krasner S. (ed.). *Problematic Sovereignty. Contested Rules and Political Possibilities*. N.Y.